

Лекция 4. Страх перед государством

31 января 1979 г. Страх перед государством. — Вопросы метода: смыслы и цели парентезиса теории государства в исследовании механизмов власти. — Неолиберальные правительственные практики: немецкий либерализм 1948–1962 гг.: американский неолиберализм. — Немецкий неолиберализм (1). — Его политико-экономический контекст. — Научный совет, созданный Эрхардом в 1947 г. Его программа: либерализация цен и ограничение правительственных вмешательств. — Средний путь между анархией и «государством-муравейником», обозначенный Эрхардом в 1948 г. — Его двойное значение: (а) соблюдение экономической свободы как условие политической репрезентативности государства: (b) установление экономической свободы как начальная стадия формирования политического суверенитета. — основополагающий характер современного немецкого руководства: экономическая свобода, источник юридической легитимности и политического консенсуса. — Экономический рост, стержень нового исторического сознания, делающий возможным разрыв с прошлым. — Присоединение христианских

демократов и SPD к либеральной политике. — Принципы либерального правления и отсутствие социалистической правительственной рациональности

Все вы, конечно, знаете Беренсона, историка искусства.¹ Будучи уже почти столетним, то есть незадолго до смерти, он сказал примерно следующее: «Бог знает, как я боюсь уничтожения мира атомной бомбой, однако есть по крайней мере еще одна вещь, которой я боюсь в такой же степени— это поглощение человечества государством».² Мне кажется, перед нами наиболее чистое, наиболее ясное выражение страха перед государством, соединение которого со страхом перед атомной угрозой — одна из наиболее постоянных черт. Государство и атомная угроза, лучше уж-атомная угроза, чем государство, или государство, которое не лучше атомной угрозы, или государство, предполагающее атомную угрозу, или атомная угроза, предполагающая и с необходимостью влекущая за собой государство, — перед нами тематика, с которой вы хорошо знакомы и которая, как видите, возникла не сегодня, поскольку Беренсон формулирует ее в 1950-[19]52 гг. Таким образом, страх перед государством, пронизывающий многие современные темы, издавна находил для себя пищу, будь то советский опыт 1920-х гг., немецкий опыт нацизма, послевоенная английская планификация и т. п. Страх перед государством, разносчики которого также были весьма многочисленны, от вдохновлявшихся австрийским неомаржинализмом преподавателей политической экономии³ до политических эмигрантов, которые с 1920 и 1925 гг. играли в формировании политического сознания современного мира весьма значительную роль, которая, быть может, до сих пор недостаточно изучена. Следует создать целую политическую историю эмиграции или историю политической эмиграции со всеми ее идеологическими, теоретическими и практическими следствиями. Политическая эмиграция конца XIX в., конечно же, была одним из основных агентов распространения социализма. Так вот, я полагаю, что политическая эмиграция, политическое диссидентство XX в. было в свою очередь значимым фактором распространения того, что можно было бы назвать антиэтатизмом или страхом перед государством.

По правде говоря, мне бы не хотелось говорить об этом страхе перед государством прямо и в лоб, потому что мне он представляется одним из главных признаков тех кризисов управления, о которых я говорил вам в прошлый раз и примеры которых наблюдаются в XVI в. (об этом я вам говорил в прошлом году⁴); примеры XVIII в. — вся та необъятная, трудная и запутанная критика деспотизма, тирании, произвола, которая отражала кризис руководства во второй половине XVIII в. Так вот, так же, как существовала критика деспотизма и страх перед деспотизмом — в конце концов двусмысленный страх перед деспотизмом в конце XVIII в., — так и сегодня по отношению к государству ощущается страх, быть может, столь же двусмысленный. Во всяком случае, я хотел бы пересмотреть эту проблему государства, или вопрос о государстве, или о страхе перед государством, исходя из того анализа руководства, о котором я вам уже говорил.

Конечно, вы поставите передо мной вопрос, вы мне возразите: вы снова занимаетесь экономией теории государства. Так вот, я вам отвечу: да, я занимаюсь, хочу заниматься и должен заниматься экономией теории государства, как можно и нужно заниматься

экономией несварения. Я хочу сказать: что значит заниматься экономией теории государства? Когда мне говорят: на самом деле в своих исследованиях вы затушевываете присутствие и эффект государственных механизмов, я отвечаю: это ошибка, вы ошибаетесь или хотите ошибиться, так как, по правде говоря, я не занимался ничем иным, кроме как совершенно обратным этому затушевыванию. И когда речь шла о безумии, о конституировании той категории, того естественного квазиобъекта, каким является психическая болезнь, речь также шла об организации клинической медицины; когда речь шла и об интегрировании дисциплинарных механизмов и технологий в уголовную систему, так или иначе это всегда было поступательной этатизацией некоторой распадающейся на этапы, но продолжающейся практики и закреплении способа действовать и, если хотите, руководства. Проблема этатизации помещается в самом центре вопросов, которые я пытался поставить.

Но если, напротив, сказать, что «заниматься экономией теории государства», — это значит не исследовать в-себе и для-себя его природу, структуру и функции, если заниматься экономией теории государства, — это значит не пытаться выводить из того, что представляет собой государство как разновидность политической универсалии, и его последовательных расширений то, каким мог бы быть статус безумцев, больных, детей, преступников и т. п. в таком обществе, как наше, тогда я отвечаю: да, конечно, в этой форме исследования я решил заняться экономией. Это не значит выводить ансамбль практик из предполагаемой сущности государства в-себе и для-себя. Сперва нужно создать экономию подобного исследования, просто потому что история — не дедуктивная наука, а во-вторых, по другой причине, более важной и, конечно, более значительной: дело в том, что у государства нет сущности. Государство — это не универсалия, государство — это не автономный источник власти в-себе. Государство — это не что иное, как эффект, контур, подвижный срез непрестанной этатизации или этатизаций, непрестанных взаимодействий, которые изменяют, смещают, сотрясают, коварно заставляют перемещаться источники финансирования, способы инвестирования, центры принятия решения, формы и типы контроля, отношения между местными властями и центральной властью и т. п. Короче, у государства, как известно, нет сердца, не просто потому, что у него нет чувств — ни хороших, ни плохих, — у него нет сердца в том смысле, что у него нет внутренностей. Государство — это не что иное, как меняющееся следствие сложного режима руководств. Поэтому ту боязнь государства, тот страх перед государством, который представляется мне одной из характерных черт нашей эпохи, я предлагаю исследовать или, скорее, поверять, не пытаюсь вырвать у государства тайну того, что оно есть, как Маркс пытался вырвать тайну у товара. Речь идет не о том, чтобы вырвать у государства его тайну, речь о том, чтобы подступиться снаружи и изнутри к проблеме государства, предпринять изучение проблемы государства, исходя из практик руководства.

В этой перспективе, продолжающей нить анализа либерального руководства, я бы хотел взглянуть на то, как оно представляется, как оно осмысляется, как оно одновременно творит себя и само себя анализирует; короче, как оно проектируется в настоящее время. Я уже обозначил кое-что из того, что представляется мне, так сказать, первичными признаками либерального руководства, каким оно возникает в середине XVIII в. Я намерен перескочить через два столетия, поскольку я не претендую на то, чтобы представить полную, всеобщую и непрерывную историю либерализма от XVIII до XX в. Я хотел бы просто,

исходя из того способа, каким проектируется либеральное руководство в настоящее время, попытаться нащупать и прояснить некоторые проблемы, повторяющиеся с XVIII до XX в. Если вы согласитесь на изменения, — вы ведь знаете, я, как рак, двигаюсь боком, — я надеюсь успешно разобраться с проблемой закона и порядка, law and order, с проблемой государства в его противостоянии гражданскому обществу, или, скорее, с анализом приемов этой игры и того, как разыгрывается это противостояние. И тогда наконец, если удача мне улыбнется, обратиться к проблеме биополитики и жизни. Закон и порядок, государство и гражданское общество, политика и жизнь — вот три темы, которые я хотел бы выделить в этой обширной и долгой истории, в этой двухвековой истории либерализма.⁵

Итак, если позволите, обратимся к положению дел на современном этапе. Какой представляется либеральная или, как ее называют, неолиберальная программа в нашу эпоху? Как вы знаете, она имеет две основные формы с различной привязкой и историческим контекстом; а именно: немецкая форма, сопряженная с Веймарской республикой, с кризисом 29 г., с развитием нацизма, с его критикой и, наконец, с послевоенным восстановлением. Другая форма — американская, то есть неолиберализм, который отсылает к политике «New Deal», к критике политики Рузвельта,⁶ и который развивается и организуется главным образом после войны, будучи направлен против федерального интервенционизма, а затем и программ помощи и других программ, разработанных преимущественно демократическими администрациями Трумэна,⁷ Кеннеди,⁸ Джонсона⁹ и др. Между этими двумя формами неолиберализма, которые я разделяю несколько произвольно, конечно же, целая куча общего: во-первых, общий враг, главный доктринальный противник, каковым, разумеется, был Кейнс,¹⁰ почему критика Кейнса и будет циркулировать от одного к другому из этих двух неолиберализмов; во-вторых, общие объекты отторжения, а именно управляемая экономика, планирование, государственный интервенционизм, интервенционизм вообще, в котором Кейнс играл теоретическую и, что еще важнее, практическую роль; и наконец, между этими двумя формами неолиберализма циркулировал целый ряд личностей, фигур, теорий, книг, главные из которых относились к австрийской школе, к австрийскому неомаржинализму, во всяком случае оттуда вышли такие люди, как фон Мизес,¹¹ Хайек¹² и др. Впрочем, главным образом я хотел бы поговорить о первой форме — говоря очень схематично, о немецком неолиберализме, одновременно и потому, что мне он представляется теоретически более важным нежели другие, и потому что я не уверен, что у меня будет достаточно времени, чтобы поговорить об американцах.

Итак, если позволите, поговорим о немецком примере, о немецком неолиберализме.¹³ Апрель 1948 г. — хоть мне и стыдно напоминать вам архиизвестные вещи, — это время почти неоспоримого господства во всей Европе экономической политики, руководствующейся рядом хорошо известных требований.

Во-первых, требование восстановления, то есть реконверсии военной экономики в экономику мирную, восстановление разрушенного экономического потенциала, а также интеграция новых технологических показателей, которые смогли возникнуть во время войны, новых демографических, а также геополитических показателей.

Требование восстановления, требование планирования как главного инструмента реконструкции вызывалось одновременно внутренней необходимостью и давлением, оказываемым Америкой, американской политикой и планом Маршалла,¹⁴ и практически предполагало — за исключением Германии и Бельгии, к которым мы сейчас вернемся, — планификацию каждой страны и определенную координацию различных планов.

Наконец, третье требование, сформулированное в Пари же CNR,¹⁵ обусловлено социальными целями, считавшимися политически необходимыми для избежания того, что только что случилось в Европе, а именно фашизма и нацизма.

Эти три требования — восстановление, планирование, а также социализация и социальные цели — все это предполагало политику вмешательства в ассигнование ресурсов, в равновесие цен, в уровень сбережений, в инвестиционный выбор и политику полной занятости, короче — еще раз прошу прощения за все эти банальности — всецело кейнсианскую политику. Итак, Научный совет, образованный при немецкой экономической администрации,¹⁶ существовавшей в так называемой «бизоне», то есть в англо-американской зоне, в апреле 1948 г. выпустил доклад, и в этом докладе устанавливался следующий принцип. Сформулирован он так: «Совет считает, что функция управления экономическим процессом должна по возможности обеспечиваться ценовым механизмом».¹⁷ Решение, ставшее впоследствии принципом, было принято единодушно. Принятие большинством голосов Совета этого принципа имело следующее простое следствие: требование немедленной либерализации цен, [сопоставимых с][⁴³] мировыми. То есть принцип свободы цен и требование их немедленной либерализации. Перед нами область решений или во всяком случае рекомендаций (поскольку этот Научный совет, конечно же, имел только совещательный голос), которые своей наивной простотой заставляют задуматься о том, чего могли требовать физиократы, или о том, какое решение мог принять Тюрго в 1774 г.¹⁸ Это произошло 18 апреля 1948 г. Десять дней спустя, 28-го, Людвиг Эрхард,¹⁹ который отвечал не за группировавшийся вокруг него Научный совет, а за экономическую администрацию бизоны, или, во всяком случае, за немецкую часть экономической администрации бизоны, произнес на ассамблее во Франкфурте²⁰ речь, в которой воспроизвел заключения этого доклада.²¹ Он намерен установить принцип свободы цен и требовать их постепенной либерализации, но из этого принципа, из такого заключения он извлекает весьма значимое соображение. Он говорит так: «Надо освободить экономику от государственного принуждения».²² Необходимо избежать, — продолжает он, — и анархии, и «государства-муравейника», поскольку, утверждает он, «только государство, устанавливающее одновременно и свободу, и ответственность граждан, может легитимно высказываться от имени народа».²³ Как видите, этот экономический либерализм, этот принцип верности рыночной экономике, сформулированный Научным советом, вписывается в нечто более обширное — в принцип, согласно которому следует ограничить вмешательства государства. Следует в точности зафиксировать границы и пределы этатизации и урегулировать отношения между индивидами и государством. Речь Людвиг Эрхарда очень четко отличает этот либеральный вариант, предложенный на ассамблее во Франкфурте, от некоторых других экономических практик, которые осуществлялись в ту эпоху и которые, несмотря на дирижистскую, интервенционистскую и кейнсианскую обстановку в Европе, могли иметь место. То есть от того, что произошло в Бельгии, где также избрали либеральную политику, от того, что отчасти произошло в Италии, где под

влиянием Луиджи Эйнауди,²⁴ в то время директора Банка Италии, был принят ряд либеральных мер — но в Бельгии и в Италии это были чисто экономические мероприятия. Речь Эрхарда и предложенный им в тот момент выбор подразумевали нечто совсем иное. Речь шла, как говорит сам текст, о легитимности государства.

Что имеет в виду Людвиг Эрхард, когда говорит, что надо освободить экономику от государственного принуждения, избегая и анархии, и государства-муравейника, поскольку «только государство, устанавливающее одновременно и свободу, и ответственность граждан, может легитимно высказываться от имени народа»? На самом деле эта фраза довольно двусмысленна, в том отношении, что ее можно и, я полагаю, нужно понимать на двух уровнях. С одной стороны, на уровне тривиальном. Речь идет всего лишь о том, что государство, допускающее злоупотребление властью в экономическом отношении, а значит и в отношении политической жизни, попирая основополагающие права, посягает тем самым на важнейшие свободы, и что в силу этого обстоятельства оно, так сказать, лишается своих собственных прав. Государство не может быть легитимным, если оно попирает свободу индивидов. Оно лишается своих прав. Текст не говорит, что оно лишается всех своих прав. Он не говорит, что оно лишается, например, прав суверенитета. Он говорит, что оно лишается своих прав представительства. То есть государство, попирающее основополагающие свободы, важнейшие права граждан, больше не представляет своих граждан. Нетрудно заметить, какой тактической цели отвечает эта фраза. Речь идет о том, что национал-социалистическое государство, поправшее все эти права, не было, не могло ретроспективно считаться не осуществлявшим свой суверенитет легитимно, то есть порядок в целом, права, регламентация, навязанная немецким гражданам, не отрицаются, и в то же время нельзя возлагать на немцев ответственность за то, что было сделано в законодательных или нормативных рамках нацизма; ретроспективно он оказался лишен своих прав представительства, то есть то, что он сделал, не может считаться сделанным во имя немецкого народа. Вся эта чрезвычайно трудная проблема, как она представлена в этой фразе, сводится к легитимности и юридическому статусу, который следует придать принятым нацизмом мерам.

Но есть [также] смысл одновременно более широкий, более общий и более софистичный. На самом деле, когда Людвиг Эрхард говорит, что только то государство, которое признает экономическую свободу и, следовательно, дает место свободе и ответственности индивидов, может говорить от имени народа, он хочет сказать, как мне кажется, следующее. В сущности, говорит Эрхард, при современном положении вещей — то есть в 1948 г., пока немецкое государство не восстановлено, пока немецкое государство не создано, — очевидно, невозможно требовать для Германии, которая не восстановлена, и для немецкого государства, которое не создано, исторических прав, утраченных ими в силу самой истории. Невозможно требовать юридической легитимности, поскольку нет аппарата, нет консенсуса, нет коллективной воли, которые могли бы проявиться в ситуации, при которой Германия, с одной стороны, разделена, а с другой — оккупирована. Таким образом, нет никаких исторических прав, никакой юридической легитимности, чтобы основать новое немецкое государство.

Но давайте представим себе — именно это имплицитно говорится в тексте Людвиг Эрхарда — такую институциональную структуру, природа или происхождение которой

несущественны, институциональную структуру X. Давайте представим, что эта институциональная структура X имеет своей функцией не осуществлять суверенитет, поскольку при современном положении вещей юридической власти принуждения не на чем основываться, но просто обеспечивать свободу. Не принуждать, но просто создавать пространство свободы, обеспечивать свободу, обеспечивать ее именно в экономической сфере. Давайте представим себе теперь, что в этой институции X, функция которой не в том, чтобы безраздельно осуществлять власть принуждения, но в том, чтобы просто учреждать пространство свободы, некоторое количество индивидов свободно соглашается играть в эту игру экономической свободы, обеспечиваемой им этой институциональной структурой. Что произойдет? Что означает осуществление этой свободы индивидами, которых не принуждают ее осуществлять, но которым просто предоставляется возможность ее осуществлять, свободное осуществление свободы? Какова цена включения в эту рамку, какова цена согласия на то или иное решение, которое может быть принято, и ради чего оно может быть принято? Ради того, чтобы обеспечить экономическую свободу, или ради того, чтобы обеспечить то, что может вернуть эту экономическую свободу. Иначе говоря, установление экономической свободы должно стать обязанностью, во всяком случае должно функционировать как своего рода сифон, как затравка для формирования политического суверенитета. Конечно, к этой с виду банальной фразе Людвига Эрхарда я прибавляю целый ряд значений, которые лишь предполагаются и которые обретут свою ценность и влияние лишь впоследствии. Я прибавляю всю значимость истории, которой еще нет, однако я полагаю (я попытаюсь объяснить вам, как и почему), что этот одновременно теоретический, политический, программный смысл содержался или в голове того, кто произнес фразу, или по крайней мере в головах тех, кто написал для него эту речь.

Эта идея обоснования легитимации государства гарантированным осуществлением экономической свободы представляется мне очень важной. Конечно, нужно заново рассмотреть эту идею и формулировку этой идеи с учетом контекста, в котором она появляется, и тогда легко будет распознать ее тактическую и стратегическую хитрость. Речь шла о том, чтобы найти юридический паллиатив для того, чтобы запустить в экономическом режиме то, что не могли запустить прямо либо через конституционное право, либо через международное право, либо просто через политических партнеров.

Это была, к тому же, уловка против американцев и Европы, поскольку, гарантируя экономическую свободу Германии, двигающейся по пути восстановления прежде всего государственного аппарата, американцам и, скажем так, различным американским лобби, гарантировалась уверенность в том, что они могут иметь с немецкой индустрией и экономикой свободные отношения, которые сами же изберут. А кроме того, успокаивали Европу, как Западную, так и Восточную, заверяя, что формирующийся институциональный эмбрион ни в коем случае не представлял тех опасностей сильного государства или государства тоталитарного, которые она познала в предыдущие годы. Однако помимо этих императивов непосредственной тактики в той речи, на которую я ссылаюсь, мне кажется, было что-то, что в конечном счете выбивалось из контекста и непосредственной ситуации 1948 г., оставаясь одной из основополагающих черт современного немецкого руководства:[44] не стоит думать, будто в современной Германии, с 1948 г. и по сей день, то есть на протяжении тридцати лет, экономическая деятельность была лишь одной из ветвей деятельности нации. Не стоит думать, будто хорошее экономическое управление имело

другой результат и другой предвидимый и просчитанный исход, нежели обеспечение преуспевания всех и каждого. Действительно, в экономике, в экономическом развитии современной Германии экономический рост порождает суверенитет, производит политический суверенитет посредством институции и институциональной игры, задаваемой функционированием экономики. Экономика производит легитимность государства, выступающего ее гарантом. Иначе говоря (и это чрезвычайно важный феномен, хотя, конечно, и не единственный в истории, но тем не менее весьма необычный, по крайней мере, для нашей эпохи), экономика — создательница публичного права. В современной Германии имеет место непрерывная циркуляция, идущая от экономической институции к государству; если и есть обратная циркуляция, идущая от государства к экономической институции, не нужно забывать, что основной элемент такого рода сифона располагается в экономической институции. Генезис, перманентная генеалогия государства начинается с экономической институции. И когда я об этом говорю, я полагаю, что этого все еще недостаточно, поскольку экономика дает немецкому государству, история которого была отброшена, не только юридическую структуру или правовую легитимацию. Эта экономическая институция, экономическая свобода, которая играет в этой институции роль начального обеспечения и поддержки, производит нечто куда более реальное, более конкретное, более непосредственное, нежели правовая легитимация. Она производит перманентный консенсус, перманентный консенсус всех тех, кто может выступать агентами этих экономических процессов. Такими агентами, как инвесторы, рабочие, патроны, профсоюзы. Все эти экономические партнеры в той мере, в какой они принимают свободную экономическую игру, производят консенсус, который есть консенсус политический.

Скажем еще вот что: предоставляя людям свободу действия, позволяя им говорить, оставляя им полную свободу действий, чего хочет немецкая неолиберальная институция, что она позволяет им говорить? Так вот, им позволяют говорить о том, что им позволяют действовать. То есть вступление в эту либеральную систему производит в качестве сверхпродукта, помимо юридической легитимации, консенсус, постоянный консенсус, так что экономический рост, производство благосостояния за счет этого роста ведет, симметрично генеалогии экономической институции (государства, производимого циркуляцией экономической институции) к всецелому включению населения в его режим и в его систему.

Если верить историкам XVI в., Макс Веберу²⁵ и др., обогащение частного лица в протестантской Германии XVI в. представляется знаком произвольной избранности индивида Богом. Богатство служит знаком, но знаком чего? Того, что Бог жалует этому индивиду свое покровительство и тем самым манифестирует гарантию спасения, которое в конце концов ничто в конкретных и реальных трудах индивида гарантировать не могло. Дело не в том, что ты будешь спасен, если пытаешься разбогатеть, но в том, что, если ты действительно разбогател, Бог тем самым посылает тебе на земле знак того, что ты спасешься. Обогащение, таким образом, включается в систему знаков Германии XVI в. В Германии XX в. речь идет не о частном обогащении, служащем знаком произвольной избранности Богом, но о всеобщем обогащении; знаком чего оно служит? Конечно, не избранности Богом, [но] будничным знаком включенности индивидов в государство. Другими словами, экономика всегда означает — вовсе не в том смысле, что она непрерывно производит знаки эквивалентности и рыночной стоимости вещей, в своих иллюзорных

структурах, в своих структурах симулякра, не имеющих ничего общего с потребительной стоимостью вещей; экономика производит знаки, она производит политические знаки, позволяющие функционировать структурам, механизмам и оправданиям власти. Свободный, экономически свободный рынок налагает и манифестирует политические обязанности. Твердая дойчмарка, удовлетворительный темп роста, растущая покупательная способность, благоприятный платежный баланс — все это, конечно, результаты хорошего руководства современной Германии, но также (и в определенном смысле более того) — выражение основополагающего консенсуса в государстве, которое история, или поражение, или решение победителей, как угодно, поставили вне закона. Государство обретает свой юридический принцип и свое реальное основание в существовании и практике экономической свободы. История сказала «нет» немецкому государству. Отныне ему позволяет утвердиться экономика. Непрерывный экономический рост приходит на смену отжившей истории. Разрыв с историей переживается и воспринимается как разрыв с памятью, ибо в Германии устанавливается новая размерность темпоральности, которая будет теперь не исторической размерностью, но размерностью экономического роста. Ниспровержение оси времени, уход в забвение, в экономический рост: вот что, как мне кажется, располагается в самом центре функционирования немецкой экономико-политической системы. Экономическая свобода совокупно производится ростом, благосостоянием, государством и забвением истории.

Государство в современной Германии можно назвать государством радикально экономическим, используя термин «радикальный» в строгом смысле: дело в том, что у него как раз экономический корень. Фихте, как вы знаете — вообще-то это все, что знают о Фихте, — говорил о закрытом коммерческом государстве.²⁶ К этому я еще вернусь немного позже.²⁷ Скажу лишь, ради немного искусственной симметрии, что перед нами нечто обратное закрытому коммерческому государству. Это начало коммерческой этатизации. Разве это не первый в истории пример экономического, радикально экономического государства? Следовало бы обратиться к историкам, которые понимают в истории куда больше меня. Но в конце концов, была ли Венеция радикально экономическим государством? Можно ли сказать, что Соединенные Провинции в XVI и даже в XVII вв. были экономическим государством? Во всяком случае, мне кажется, что, по сравнению с тем, что начиная с XVIII в. было одновременно функционированием, обоснованием и планированием руководства, перед нами нечто новое. И если верно, что перед нами по-прежнему руководство либерального типа, вы видите, какое смещение произошло по сравнению с тем, чем был либерализм в представлении физиократов, Тюрго, экономистов XVIII в., проблема которых была прямо противоположна, поскольку в XVIII в. им нужно было решить следующую задачу: предположим, что существует государство легитимное, уже исправно функционирующее и имеющее завершённую административную форму полицейского государства. Проблема была такова: перед нами государство; как можно ограничить это существующее государство, а главное — предоставить в его пределах место необходимой экономической свободе? Так вот, немцам нужно было решить прямо противоположную проблему. Перед нами государство, которого нет; как можно заставить его существовать исходя из того не-государственного пространства, которое есть пространство экономической свободы?

Именно это, как мне представляется, комментирует — это, опять-таки, преувеличение, но я попытаюсь показать вам, что это преувеличение не произвольно, — короткая, очевидно банальная фраза будущего канцлера Эрхарда, сказанная 28 апреля 1948 г. Конечно, эта идея, эта формулировка 1948 г. не могла получить той исторической значимости, о которой я вам говорил, поскольку она была вписана, и очень быстро, в целую сеть решений и последующих событий.

Итак, 18 апреля — отчет Научного совета; 28 апреля — речь Эрхарда; 24 июня [19]48 г. — либерализация промышленных цен, а затем цен на продукты питания, постепенная либерализация всех цен, впрочем, относительно медленная. В [19]52 г. — либерализация цен на уголь и электроэнергию, которая, я полагаю, станет одной из последних либерализации цен, имевших место в Германии. И только в [19]53 г. в отношении внешней торговли произошла либерализация таможенных тарифов, которые достигали почти 80 [%] — 95 %. Таким образом, в [19]52–53 гг. произошла почти полная либерализация.

С другой стороны, необходимо отметить, что эта политика либерализации, более или менее явно поддержанная американцами по соображениям, о которых я вам только что говорил, вызвала со стороны других оккупантов, особенно англичан, вступивших в лейбористский, кейнсианский и т. п. период,²⁹ большое недоверие. Она вызвала значительное сопротивление и в самой Германии: первые меры по либерализации цен встретили неприятие, потому что цены, конечно же, начали расти. В августе 1948 г. немецкие социалисты требуют сместить Эрхарда. В ноябре 1948 г. проходит всеобщая забастовка против экономической политики Эрхарда и за возвращение к управляемой экономике. В декабре 1948 г. — провал забастовки и стабилизация цен.³⁰

Третья серия фактов, важных для понимания того, как вписывалась в реальность та программа, о которой я вам только что говорил, была серией присоединений: сперва, и почти сразу, присоединение Христианской демократии, несмотря на ее связи со всей социальной, христианской экономикой, которая была не столь либеральна. Присоединение, вместе с Христианской демократией, христианских теоретиков социальной экономики, и в особенности мюнхенского теоретика, знаменитого иезуита Освальда Нелл-Брюнинга,³¹ преподававшего политическую экономию в Мюнхене.³² Что намного важнее, присоединение профсоюзов. Первым значительным присоединением, самым официальным, самым явным, было присоединение Теодора Бланка,³³ вице-президента профсоюза горнорабочих, который утверждал, что либеральный порядок составляет действенную альтернативу капитализму и планированию.³⁴ Можно сказать, что это фраза совершенно лицемерная или наивно играет на двусмысленностях, поскольку, когда говорят, что либеральный порядок составляет альтернативу капитализму и планированию, становятся ясно видны все те диссимметрии, на которых он играет, поскольку, с одной стороны, либеральный порядок в устах будущего канцлера Эрхарда, конечно же, никогда не претендовал и не собирался претендовать на то, чтобы быть альтернативой капитализму, но определенным способом заставить капитализм функционировать. И если верно, что он противостоял планированию, такие люди, как Теодор Бланк со своим профсоюзным представительством, со своими истоками, со своей социально-христианской идеологией и т. д., не могли критиковать его столь прямо. В действительности он хотел сказать, что неолиберализм давал надежду, реализуемую в конце концов в синтезе, или в среднем пути, или в третьем порядке, между капитализмом и

социализмом. Еще раз подчеркну: вопрос заключался не в этом. Эта фраза [была призвана] лишь заставить вдохновлявшиеся христианством профсоюзы той эпохи проглотить эту пилюлю.

Наконец, самое главное, присоединение SPD, социал-демократов, явно происходившее куда медленнее прочих, поскольку, практически до 1950 г., немецкая социал-демократия оставалась верна большей части своих принципов, которые с конца XIX в. были принципами социализма, вдохновлявшегося марксизмом. На конгрессе в Ганновере,³⁵ а также на конгрессе в Бад Дюркгейме в 1949 г. Немецкая социалистическая партия признала историческую и политическую верность принципа классовой борьбы и неизменно ставила своей целью обобществление средств производства.³⁶ Хорошо. Это [19]49, и даже еще [19]50 гг. В 1955 г. Карл Шиллер,³⁷ который позже станет министром экономики и финансов Федеративной Германии,³⁸ пишет книгу, которая, конечно, вызовет значительный резонанс, поскольку она носит не менее значительное название «Социализм и конкуренция»,³⁹ то есть не социализм или конкуренция, а социализм и конкуренция; я не знаю, в первый ли раз она была предложена, но во всяком случае наибольший отклик получила эта формулировка, которая отныне станет формулировкой немецкого социализма: «конкуренция насколько возможно и планирование в надлежащей и необходимой мере»,⁴⁰ Это было в 1955 г. В 1959 г. состоялся конгресс в Бад Годесберге,⁴¹ на котором немецкая социал-демократия, во-первых, отказалась от принципа перехода к обобществлению средств производства, а во-вторых, соответственно, признала, что частная собственность на средства производства не только вполне законна, но и имеет право на защиту и поощрение со стороны государства.⁴² То есть одна из сущностных и основополагающих задач государства состоит в том, чтобы защищать не только частную собственность в целом, но частную собственность на средства производства, при условии, добавляет резолюция конгресса, ее совместимости со «справедливым общественным порядком». Наконец, в-третьих, конгресс в Бад Годесберге одобряет принцип рыночной экономики повсюду — здесь делается оговорка — по крайней мере повсюду «где соблюдается условие подлинной конкуренции».⁴³

Очевидно, что, если мыслить в марксистских терминах, или если мыслить исходя из марксизма или отталкиваясь от традиции немецких социалистов, существенной в этих предложениях конгресса в Бад Годесберге оказывается серия отречений — отречений, ересей, если угодно, измен — классовой борьбе, обобществлению средств производства и т. п. Существенны эти отказы, отречения, эти досадные издержки жанра: следует нацеливаться на справедливый общественный порядок, реализовывать условия подлинной конкуренции — все это является опять-таки в перспективе марксизма, функционирующего исходя из собственной ортодоксии, все тем же лицемерием. Но для того, кто слушает те же самые фразы другим ухом или исходя из другого теоретического «бэкграунда», эти слова — «справедливый общественный порядок», «условие подлинной экономической конкуренции» — звучат совсем иначе, указывая (и это еще одна вещь, которую я хотел бы объяснить вам в следующий раз) на присоединение целого доктринального и программного ансамбля, который не сводится лишь к экономической теории эффективности и полезности свободы рынка. Присоединение к тому типу руководства, для которого немецкая экономика служила основанием легитимного государства.

Почему произошло присоединение немецкой социал-демократии и почему присоединение к этим тезисам, практике и программам неолиберализма, хотя и немного запоздалое, было довольно легким? Существует по меньшей мере две причины. Одна, конечно же, заключается в необходимой и вынужденной политической тактике, потому что, если бы SPD под руководством старого Шумахера⁴⁴ отстаивала традиционную позицию социалистической партии, которая, с одной стороны, [принимала] режим, называемый либеральной демократией — то есть систему государства, конституции, юридических структур, — но, с другой стороны, теоретически и в принципе отвергала капиталистическую экономическую систему, а следовательно, ставила перед собой задачу в этих юридических рамках, считавшихся достаточными для утверждения основополагающей игры неотъемлемых свобод, всего лишь подправлять существующую систему в зависимости от определенных отдаленных целей, совершенно понятно, что в том новом экономико-политическом государстве, которое вот-вот должно было родиться, для SPD не было места. Для нее не было места, потому что это было нечто прямо противоположное. [Изначально] речь шла не о том, чтобы продаться и принять юридические или исторические рамки, задаваемые государством или неким народным консенсусом, а затем экономически, изнутри работать над определенными сглаживаниями. Все было наоборот. В этом новом немецком экономико-политическом режиме начинали с того, чтобы обеспечить себе определенное экономическое функционирование, которое было бы основанием самого государства, его существования и его международного признания. Сперва задавали себе эти экономические рамки, а затем лишь появлялась, так сказать, легитимность государства. Как же вы хотите, чтобы социалистическая партия, которая ставила своей ближайшей целью совсем иной экономический режим, включилась в эту политическую игру, так сказать, извратив свою сущность и поставив в основание своего отношения к государству экономическое, а не преобладание историко-юридических рамок в государстве с той или иной экономикой? Следовательно, для того чтобы включиться в политическую игру новой Германии, было необходимо, чтобы SPD присоединилась к тезисам неолиберализма, иначе говоря, к тезисам экономическим, научным или теоретическим, по крайней мере в отношении общей практики как правительственной практики неолиберализма. Так что конгресс в Бад Годесберге, этот знаменитый конгресс абсолютного отречения от наиболее традиционных тем социал-демократии, был, конечно же, разрывом с марксистской теорией, разрывом с марксистским социализмом, но в то же время это было (именно потому то была не просто измена — таковой она может быть только в расплывчатых исторических терминах) принятием того, что должно было функционировать уже как экономико-политический консенсус немецкого либерализма. Это был не столько отказ от той или иной части программы, общей для большей части социалистических партий, сколько вхождение наконец в игру руководства. Социал-демократии ничего не оставалось, как порвать с английской моделью и со всеми отсылками к кейнсианской экономике. В 1963 г. это снова сделал Карл Шиллер, отказавшийся даже от формулы «конкуренция насколько возможно и планирование в необходимой мере». В [19]63 г. он выдвинул принцип, согласно которому всякое планирование, даже гибкое, опасно для либеральной экономики.⁴⁵ Вот так. Социал-демократия полностью включилась в экономико-политический тип руководства, который Германия приняла с 1948 г. Она так хорошо включилась в игру, что шесть лет спустя Вилли Брандт⁴⁶ стал канцлером федеральной Германии.

Конечно, это одна из причин, и не самая малая, однако я полагаю, что нужно попытаться немного подробнее изучить эту проблему отношений немецкого социализма с неолиберальным руководством, дефинированным в 1948 г. Людвигом Эрхардом или по крайней мере его замечательными советниками, о которых я постараюсь сказать немного больше в следующий раз. Попытаемся немного лучше понять то, что произошло, и то, почему это произошло именно так. Несомненно, существует иная причина, нежели тот вид тактического отступления, к которому немецкая социалистическая партия прибегла начиная с 1948 г. Часто говорят, что у Маркса (в конце концов так говорят люди, которые его знают) нет анализа власти, что его теория государства несостоятельна и что настало время заняться ею. Но так ли уж нужно создавать теорию государства? В конце концов англичанам не так уж плохо живется, и в целом они, по крайней мере до последнего времени, вполне сносно управляют без теории государства. Последняя из теорий государства обнаруживается у Гоббса,⁴⁷ то есть у того, кто был одновременно современником и «сторонником» того типа монархии, от которого англичане в тот момент как раз избавились. А после Гоббса пришел Локк.⁴⁸ Локк больше не занимается теорией государства, он занимается теорией правления. Таким образом, можно сказать, что английская политическая система и либеральная доктрина никогда не функционировали исходя из или задавая себе теорию государства. Они обращались к принципам правления.

В конце концов, была ли теория государства у Маркса, решать марксистам. Я же скажу лишь: чего не хватает социализму, так это не столько теории государства, сколько правительственного мышления, ведь определением правительственной рациональности для социализма была разумная и рассчитанная мера степени, способов и целей правительственных действий. Социализм задает или во всяком случае предполагает историческую рациональность. Вы знаете, что это такое, так что говорить об этом дальше бессмысленно. Он предполагает экономическую рациональность. Одному Богу известно, как спорили, особенно в 1920-1930-е гг., о том, нужна или не нужна эта рациональность. Те неолибералы, о которых я вам говорил, такие как фон Мизес, Хайек и др., в те годы отрицали (особенно фон Мизес⁴⁹) что существует экономическая рациональность социализма. Впрочем, об этом мы уже говорили. Скажем так, проблема экономической рациональности социализма — вопрос спорный. Во всяком случае, он предполагает экономическую рациональность так же, как и рациональность историческую. Можно сказать также, что он сохраняет, демонстративно сохраняет рациональные техники административного вмешательства в таких областях, как здравоохранение, социальное обеспечение и т. п. Историческая, экономическая, административная рациональность: все эти рациональности отличают социализм; во всяком случае, проблема это спорная, и устранить единым жестом все эти формы рациональности невозможно. Однако я полагаю, что самостоятельного социалистического руководства не существует. Не существует правительственной рациональности социализма. В действительности, как показала история, социализм может существовать, лишь подключаясь к различным типам руководства. Либерального руководства, по отношению к которому социализм и его формы рациональности играют роль противовесов, корректива, паллиатива внутренней опасности. Можно, конечно [упрекать его, как это делают либералы][⁴⁵], в том, что он сам является опасностью, но в конце концов он существует, он эффективно функционирует, чему есть примеры, внутри либерального руководства и будучи подключен к нему. Мы видели и видим, что он всегда функционирует в тех руководствах, которые, несомненно, более

релевантны, чем те, о которых мы говорили в прошлом году, — в полицейском государстве,50 то есть в гиперадминистративном государстве, в котором руководство и администрация образуют, так сказать, сплав, целостность, составляя своего рода массивный блок; и здесь, в этом полицейском государстве, социализм функционирует как внутренняя логика административного аппарата. Возможно, существуют и другие руководства, к которым подключается социализм. Их надлежит рассмотреть. Но, во всяком случае, я не думаю, что когда-либо возникнет самостоятельное руководство социализма.

Давайте взглянем на вещи еще и под другим углом и скажем так: когда мы пересекаем границу, разделяющую две Германии, Германию Хельмута Шмидта51 и Германию [Эриха Хонеккера52][46], когда мы пересекаем эту границу, вопрос, который ставит всякий порядочный западный интеллигент, конечно же, таков: где подлинный социализм? Там, откуда я пришел, или там, куда я иду? Справа или слева? По эту сторону или по ту? Где подлинный социализм?[47] Но имеет ли смысл вопрос «где подлинный социализм»? В сущности, не стоило бы говорить, что социализм здесь не такой настоящий, чем там, просто потому, что социализм не бывает подлинным. Я хочу сказать следующее: дело в том, что в любом случае социализм подключен к руководству. Здесь он подключен к такому правлению, там он подключен к другому, давая здесь и там совсем не схожие плоды, по воле случая пуская более или менее нормальный побег или же принося ядовитые плоды.

Однако либерализм задает этот вопрос, который всегда ставится в связи и по поводу социализма, а именно подлинный или ложный? Либерализм не бывает подлинным или ложным. О либерализме спрашивают, чистый ли он, радикальный ли, последовательный ли, умеренный ли и т. п. То есть у него спрашивают, какие правила он задает самому себе, как он компенсирует механизмы компенсации, как он умеряет механизмы умерения, которые он устанавливает в своем правлении. Мне представляется, что если перед социализмом, напротив, жестко ставят этот нескромный вопрос о подлинности, которого никогда не ставят перед либерализмом: «Подлинный ты или ложный?», — так это как раз потому, что у социализма нет собственной правительственной рациональности, а это [отсутствие] правительственной рациональности, которое ему присуще и, мне кажется, не преодолено до настоящего времени, заменяет проблему внутренней правительственной рациональности соответствием тексту. А это соответствие тексту или серии текстов скрывает отсутствие правительственной рациональности. Предлагается способ прочтения и интерпретации, на котором должен основываться социализм, который должен указать ему, каковы его пределы, возможности и вероятные действия, тогда как то, что ему сущностно необходимо, так это определить для самого себя способ действовать и способ управлять. Значимость текста для социализма, как мне кажется, обусловлена лакуной, создаваемой отсутствием социалистического искусства управлять. Таким образом, у любого реального социализма, у всякого социализма, осуществленного в политике, нужно спрашивать не к какому тексту ты отсылаешь, не предаешь ли ты текст, соответствуешь ли ты тексту, подлинный ты или ложный? Его всегда нужно спрашивать лишь, каково то по необходимости внешнее руководство, которое заставляет тебя функционировать и внутри которого ты только и можешь функционировать? А если такого рода вопросы кажутся чересчур отдающими злопамятностью, давайте поставим более общий вопрос, в большей степени обращенный к будущему, который звучит так: каким могло бы быть адекватное социализму руководство? Существует ли адекватное социализму руководство? Какое руководство может быть

руководством строго, внутренне, самостоятельно социалистическим? Во всяком случае давайте иметь в виду лишь то, что, если и существует подлинно социалистическое правление, оно не скрывается внутри социализма и его текстов. Его нельзя вывести из социализма. Его нужно изобрести.[48]53

Таковы исторические рамки, в которых обретает свою плоть то, что называется немецким неолиберализмом. Во всяком случае, мы имеем дело с целым ансамблем, который, как мне кажется, невозможно свести к чистому и простому проекту политических групп или отдельных политиков Германии на завтра после разгрома, поскольку абсолютно решающими были само существование, давление обстоятельств, возможные стратегии, определяемые этой ситуацией. Это нечто отличное от политического расчета, даже если оно пронизывается политическим расчетом. Это и не идеология, хотя все идеи, аналитические принципы и т. п. всецело взаимосвязаны. Фактически речь идет о новом планировании либерального руководства. Внутренняя реорганизация, которая, опять-таки, не ставит перед государством вопрос: какую свободу ты предоставишь экономике? но ставит вопрос перед экономикой: как твоя свобода может выполнять функцию этатизации в том смысле, что позволит эффективно обосновать легитимность государства?

Итак, на этом я должен остановиться.[49] В следующий раз я буду говорить о формировании неолиберальной доктрины около 1925 г. и о ее воплощении около 1952 г.

Версия #2

Зверобой создал 27 января 2026 05:13:33

Зверобой обновил 27 января 2026 06:48:26